**Александр Куприн. Святая ложь**

Иван Иванович Семенюта — вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда был козлищем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:  
   — О! Земнют, скверный мальчишка! Au mur! К стеньи!  
   И бедного, ни в чем не повинного Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.  
   — Ученичок развращенный! Ар-ха-ро-вец… Позорище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!..  
   И потом заканчивал деловым холодным тоном:  
   — После обеда в карцер на трое суток. До рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.  
   Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Козли-ще!»  
   И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды, — всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:  
   — У-бо-ище!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..  
   Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, жившая в казенном вдовьем доме, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:  
   — Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий очень и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его.  
   Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов.  
   Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.  
   Оставалось искать место. Но место «не выходило» — таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать поклонилась псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.  
   Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.  
   Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влег в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский», — решили про него.  
   Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста[1] и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркадского благополучия[2] судьба и явила ему свой свирепый образ.

   Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.  
   Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса, с неприязнью, другие — с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.  
   Тревога его росла с каждой минутой. В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев.  
   Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом, ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.  
   — Подойдите, Семенюта, — сказал директор, после того как Семенюта низко поклонился. — Скажите, зачем вы это сделали?  
   — Что, ваше превосходительство?  
   — Вы сами лучше меня знаете, что. Зачем вы взломали ящик от экзекуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.  
   — Я… ваше превосходительство… Я… Я… Я, ей-богу…  
   Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком:  
   — Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались одни. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.  
   Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.  
   — Ваше… Ей-богу, честное слово… ваше… Пускай меня матерь божия, Николай Угодник, если я… ваше превосходительство!  
   — Встаньте, — брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или *кражи* (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом — трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.  
   И он надавил кнопку электрического звонка.  
   
   Вот уже три года как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбку уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый, веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец, в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.  
   Чем существует Семенюта, — он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.  
   Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на пасху, на троицу и на тринадцатое августа.  
   Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек — пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилии: одного — Пшонкин, а другого Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.

   Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.  
   — Что? Плохо, брат Семенюта? — спрашивает Масса.  
   — На бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.  
   — А ты не делал бы, чего не полагается.  
   — Николай Степанович… видит бог… не я… как перед истинным, — не я.  
   — Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.  
   — Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.  
   — Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?  
   — Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня… старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не бог весть какие, но все-таки пятьсот рублей… Это не Макара в спину целовать.  
   — Ну, ну, бери, бери, бог с тобой.  
   И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.  
   — Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?  
   Гордый Никита молчит, точно окаменев.  
   — Как здоровье мамаши? — спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.  
   Швейцар заявляет:  
   — А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.  
   Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, — запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, цвелый запах чистой, опрятной старости, запах земли — все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.  
   Вот наконец палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!  
   — Конкордия Сергеевна, к вам пришли.  
   — Никак, Ванечка?  
   Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.  
   — Ванечек! Милый. Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.  
   Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узловатые руки трясутся.  
   Проходит мимо степенная старая горничная, «покоевая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.  
   — Домнушка! — говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал.  
   Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.  
   — Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуту-с.  
   Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.  
   — Вид у тебя неважный, Ванек, — говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. — Побледнел ты, усталый какой-то.  
   — Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать?  
   — Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.  
   — Ничего, маман, я двужильный. Зато на пасху получу коллежского, и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы — хозяйка.

   Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин.  
   — Дай-то бог, дай-то бог, Ваничек. Только бы бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя…  
   — Ничего. Выдержим, маман!  
   Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шалопаям, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «мамусенькой», «мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.  
   Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.  
   Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:  
   — Господи! Ванечка! И не узнать совсем, — какой большой стал. А я ведь вас вон этаким, этаким помню. Отчаянный был мальчик — герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев.[3] Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну, — «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.  
   
   Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки.  
   — И спасибо… Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.  
   — Как у нас дела, маман? — спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.  
   — Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда… Вот с дочками плохо. Ты-то, слава богу, на дороге, на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет подлец.  
   — Да уж, маман, правда ваша, — подлец.  
   — Тсс… тише… Не говори так вслух… — шепчет мать. — Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоиньки… уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый и ласковый… Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет бабья — сущий кобель, прости господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные. А Зоя, дурища, до сих пор влюблена как кошка! Не понимаю, что за глупость! На днях нашла у него в письменном столе, — ключ подобрала, — нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней[4] в самом таком виде… знаешь… без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом… Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс… потише — здесь и стены имеют уши.  
   Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее.  
   Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой — просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» — «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?» — «Мне подсказало сердце».  
   — Жениться бы тебе, Ванечка.  
   — Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.  
   — Ах, проказник!  
   — Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».  
   И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и щуря глаза, а мать смотрит ему в рот, завороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком. «Барыни, ужинать».  
   — Ты подожди меня, — шепчет мать. — Хочу еще на тебя поглядеть.  
   Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

   — Покушай, Ванечка, покушай, — ласково упрашивает мать. — Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил севрюжинку.  
   — Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чествовали экзекутора.[5] Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте…  
   Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.  
   Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любезность.  
   — Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы — лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!  
   В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.  
   — Так-то, Никитушка, — говорит ласково Семенюта. — Жить еще можно… Не надо только отчаиваться… Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.  
   — Да будет вам, — пренебрежительно роняет швейцар. — Я знаю, у вас все крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.  
   Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю — да.  
   Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?  
   И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:  
   — Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.  
   Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирешку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:  
   — Ваше превосходительство, совесть меня замучила… Умираю я… Хочу с души грех снять… Деньги-то эти самые и марки… Это ведь я украл… Попутал меня лукавый… Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а деньги и марки — вот они здесь… В комоде, в верхнем правом ящичке.  
   На другой же день пошлет начальник Пшонкина или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание злосчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.  
   И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь — это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.  
   
   А ведь и в самом деле бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?